Как живёт и работает граф Лев Николаевич Толстой

Петр Алексеевич Сергеенко

SHOUT
SHARE
IT

- П. А. Сергеенко
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36

П. А. Сергеенко
Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой

Я впервые видел Л. Н. Толстого[1] и невольно приковался к нему взглядом. Он был в темно-серой фланелевой блузе с отложным просторным воротом, открывавшим при поворотах головы жилистую шею. От быстрой ходьбы на морозном воздухе он дышал учащенно, и его седые волосы спутались на висках влажными космами. Он имел бодрый, оживленный вид, держался прямо и двигался быстрыми, мелкими шагами, почти не сгибая колен, что напоминало движения человека, скользящего по льду. Он казался не моложе и не старше своих лет (тогда ему было 64 г.) и производил впечатление хорошо сохранившегося, энергичного крестьянина. И лицо у него было крестьянское: простое, деревенское, с широким носом, обветренной кожей и густыми нависшими бровями, из-под которых зорко выглядывали синевато-серые глаза.

Но выражение глаз его было необыкновенно и невольно привлекало внимание. В них как бы сконцентрировались все яркие особенности толстовской личности. И кто не видел, как вспыхивают и загораются эти глаза, как они приобретают вдруг какой-то сверлящий и пронизывающий характер, тот не может иметь полного представления о личности Л. Н. Толстого <…>.

Лев Николаевич был в отличном расположении духа. На его не закрытых усами и красиво очерченных губах поминутно скользила улыбка, сопровождаемая юмористическими вставками.

До знакомства с ним я, по его портретам, всегда считал Л. Н. Толстого человеком замкнутым в себе и несколько мрачным. Это неверно. Он очень общителен, разговорчив, любит шутку, высоко ценит юмор и охотно прибегает к нему <…>.

138

Через неделю после моей первой встречи с Л. Н. Толстым я воспользовался его приглашением и часов около восьми вечера поехал <…> в Долго-Хамовнический переулок <…>.

Один из присутствующих коснулся последекабрьской освободительной эпохи и заговорил о братьях Аксаковых, Каткове, Грановском, Герцене и других, которых всех Л. Н. Толстой знал лично. При имени Герцена Лев Николаевич оживился и рассказал, как виделся с ним в Лондоне[2]. Установилось мнение, будто Л. Толстой не признает в Герцене

литературного дарования. Это неверно. Напротив, именно литературный дар Герцена и ценит-то Л. Н. очень высоко. И когда вопрос коснулся этого, то в усталом голосе Льва Николаевича вдруг зазвучала горячая и юношески свежая нотка, появляющаяся всегда у него, когда он говорит о каком-нибудь истинном даровании или о прекрасном поступке.

— Если бы выразить в процентных отношениях, — сказал он, — влияние наших писателей на общество, то получилось бы приблизительно следующее: Пушкин 30 %, Гоголь 15 %, Тургенев 10 %…

Л. Н. Толстой перечислил всех выдающихся русских писателей, кроме себя, и, отчислив на долю Герцена 18 %, с убежденностью сказал:

— Он блестящ и глубок, что встречается очень редко[3].

К нашему столу подошел молодой художник. Лев Николаевич заговорил с ним об его работах и перешел на живопись, от которой требовал не букетов и амуров, а служения высшим запросам человеческого духа. Л. Н. скоро вошел в страстный тон и начал горячо говорить, быстро завязывая при этом и развязывая какой-то шнурок, попавшийся ему в руки. Кто-то упомянул о большой картине одного московского художника.

— Ну вот, хотя бы эта картина! — сказал, возбуждаясь, Лев Николаевич. — Кому нужна эта грубая мазня, от которой так и веет кнутом? Не выношу я подобных «рассейских» произведений. И зачем эти глупые рожи? Кто же этого не знает, что глупые рожи бывают на свете? А ведь искусство всегда должно говорить что-нибудь новое, потому что оно есть выражение внутреннего состояния художника и только тогда осуществляет свое назначение, когда художник дает нам нечто такое, чего никто еще раньше не давал и чего никаким иным

способом нельзя лучше выразить[4]. Вот «Христос перед Пилатом» Ге — это настоящее искусство, хотя картина и плохо написана. Но никто до Ге так не говорил этого, и никаким другим способом нельзя сказать это так, как сказал Ге своим замученным Христом и сытым, упитанным Пилатом[5]. И всегда и везде Христы и Пилаты были и будут именно такие. И посмотрите, как работает Ге над своими сюжетами! Он десятки лет изучает жизнь Христа, да не с внешней палестинской стороны, как другие, а с внутренней. Придешь, бывало, ночью к нему, а он сидит с своими взвихренными висками на диване и читает Евангелие. Да иначе и нельзя. Ведь искусство — огромное, могущественное средство <…>.

Лев Николаевич <…> перешел на характеристику условий,

создающих что-то вроде лжеискусства, которое людям вовсе не нужно.

— Нынче ведь, куда ни пойди, — сказал он, — в книжный магазин, в посудный, в ювелирный, везде искусство. И не какое-нибудь любительское искусство, а патентованное, с дипломами и золотыми медалями. Пойдите в театр — там опять искусство: какая-нибудь госпожа ноги выше головы задирает. И эта гадкая глупость не только не считается неприличным делом, а, напротив, возводится в нечто первосортное и настолько важное для людей, что этому спорту отводится в газетах даже постоянное место, наряду с величайшими мировыми событиями. Некоторые же органы печати имеют еще для этого и постоянных ценителей, которые часто ночью, прямо из театра, едут в типографию и там немедленно, при грохоте машин, пишут свои впечатления, поспешая, дабы мир заутра мог уже знать, как именно вчера такая-то госпожа в таком-то театре ноги вверх задирала.

— Но все это, бог даст, просеется временем, и в результате получится добрая питательная мука, — заметил кто-то из присутствующих.

— Зачем же мне ждать? — возразил Лев Николаевич. — Я и теперь чувствую, что на моих зубах песок. Беда в том, что не видно конца этому, потому что с каждым днем ложь искусственно создается в лице различных музыкальных и художественных школ, уродующих тысячи молодых жизней[6]. Между тем без этих рассадников всякой фальши и рутины молодые жизни могли бы приносить пользу людям. И когда я вижу юношу

140

или девушку с дипломом или с медалью за выдающиеся успехи, то я уж знаю, что тут надо оставить всякую надежду. Передо мной исправно заведенная машина и только.

— Ну, хорошо, Лев Николаевич, — сказал один из собеседников, — допустим, что существующие в России музыкально-художественные учреждения действительно не приносят особенной пользы. Допустим это и мысленно уничтожим их. Какие же учреждения вы дадите нам вместо тех, негодных?

— Вот странная претензия! — удивленно проговорил Лев Николаевич, пожав плечами. — Это все равно, что ко мне пришел бы больной с… флюсом. Флюс стесняет его. Флюс ему в тягость. Я вылечиваю его от флюса. Тогда он обращается ко мне и спрашивает: «А что же вы дадите мне вместо флюса?» Да ничего не нужно вместо флюса.

Все рассмеялись <…>.

От вопросов о жизни перешли на современную музыку. Лев

Николаевич начал доказывать, что современная музыка не дает мелодий и идет к упадку. А все симфонические вечера с их накрахмаленными слушателями — только мода и фальшь. Если б у кого-нибудь хватило духу в минуту музыкального остолбенения заиграть вдруг на одном из симфонических вечеров камаринскую, то все сразу душою ожили бы. И это понятно почему: камаринская выражает известное состояние сердца, а современная музыка ничего не выражает, кроме скуки[7].

— Однажды мне в Оренбурге, — сказал Лев Николаевич, — пришлось слышать, как одна башкирка ехала верхом и пела. Я ничего не понял из ее слов. Но песня ее подействовала на меня, потому что она была непосредственным выражением ее души. И всякую чисто народную песню поймет другой народ. Современная же — порченая — музыка требует исключительных слушателей и существует только для сытых. Поэтому она меня и отталкивает.

— А Вагнер? А «Зигфрид»? — спросил кто-то из присутствующих.

Л. Н. Толстой нахмурился.

— Это даже и не музыка!

— А что же?

— Это — иллюстрация. «Трат-та-та!» — это значит барабанщик. «Ту-ту-ту!» — это уж непременно труба, и т. д. Высидеть несколько часов среди этих примитивных и однообразных звуков — своего рода пытка. Точно в доме умалишенных находишься. И когда попадется наконец несколько тактов настоящей музыки, то отдыхаешь, как в оазисе среди пустыни[8].

Один из присутствующих музыкантов начал возражать Льву Николаевичу:

— Но согласитесь, Лев Николаевич, что Вагнер увеличил средства оркестра и имел огромное влияние на современную музыку…

— Вот это-то и плохо, что он имел огромное влияние, — возразил горячо Лев Николаевич. — Это не движение музыки вперед, а вырождение ее, падение искусства. И вы меня извините, а я так уж решил про себя, что восхищаться Вагнером можно, только притупивши вкус к изящному. Зачем я буду есть хлеб с песком или за минутное музыкальное удовольствие платить целыми часами томительной скуки…

Через некоторое время он стал говорить спокойнее и, продолжая развивать свои мысли об искусстве, сказал, что в искусстве важно, чтобы не сказать ничего лишнего, а только давать ряд сжатых впечатлений. И тогда сильное место даст

глубокое впечатление <…>[9].

Тяжелое впечатление производят на него еще и посетители, являющиеся к нему, чтобы завербовать его на какое-нибудь дело, противное началам его души. Нечто подобное испытывал он при посещении известного французского поэта Деруледа, явившегося ко Льву Николаевичу, чтобы соблазнить его идеей «реванша»[10]. В конце концов Л. Н. Толстой, обыкновенно относящийся к иностранцам с особенным радушием, не выдержал и на воинственную тираду Деруледа с горячностью ответил:

— Границы государств должны определяться не мечом и кровью, а разумным соглашением народов. И когда не будет людей, не понимающих этого, тогда не будет и войн.

При этом Л. Н. встал и в волнении вышел из комнаты.

142

Дерулед омрачился. Он не ожидал этого и по возвращении Льва Николаевича заявил, что считает его рассуждения искусственными и что первый встречный русский крестьянин наверно рассуждает иначе. И в доказательство своей правоты Дерулед предложил перевести на русский язык его воззвание первому встречному русскому крестьянину. Лев Николаевич согласился. Пошли гулять. Навстречу показался яснополянский мужик Прокофий. Лев Николаевич подзывает его и переводит ему патетическую речь Деруледа о том, что русские и французы — братья, но между ними стоит немец и мешает им обняться, а потому Дерулед предлагает Прокофию подать руку и жать масло из немца.

Прокофий внимательно выслушал, подумал и сказал:

— Нет, барин, пускай-ка будет лучше таким образом: вы, французы, значит, будете работать, и мы, русские, будем тоже работать. А после работы пойдем в трактир и немца с собою захватим.

Деруледа не удовлетворила эта комбинация <…>.

Зимою в 1895-м году, когда он приступил к своей работе об искусстве, он одно время было попал в театральную полосу и посещал театры, беседовал с артистами и даже читал артистам Малого театра в театральной конторе свою пьесу «Власть тьмы».

Но через год он смотрел на это уже как на увлечение. И когда один знакомый начал соблазнять Льва Николаевича новою оперой, он, улыбаясь, сказал:

— Нет, нет! Это я только в прошлом году так выбрыкивал. Теперь уже окончательно спустился на дно.

Мне пришлось видеть его после представления «Лира»[11]. Он был недоволен проведенным вечером и сказал:

— Смотрел я на эти кривлянья и думал: а ведь со всем этим

бороться нужно. Сколько тут рутины, загромождающей правду! Вот Пушкин сказал, что у Шекспира нет злодеев. Какой вздор! Эдмунд — чистый, форменный злодей.

Не удовлетворила его и «Власть тьмы» на сцене <…>[12]—[13].

— Очень уж стараются артисты быть натуральными. Этого не следует делать. Исполнители должны скрывать свои намерения. Обыкновенно, как только замечаешь, что тебя стараются разжалобить или рассмешить, сейчас же начинаешь испытывать совершенно противоположные

143

чувства. И исполнители во «Власти тьмы» не совсем таковы, какими я рисовал. Никита не щеголь, не форсун, а только отпрыск городской культуры. Аким не вещает, когда говорит, напротив, он напрягается, спешит и потеет от усилий мысли. Он должен быть нервен и суетлив.

Через некоторое время Лев Николаевич опять заговорил о «Лире» и, почувствовав аппетит, обратился к своим дочерям:

— Регана! Гонерилья! А не будет ли старому отцу овсянка сегодня?

К Шекспиру Лев Николаевич вообще относится без увлечения <…>. Он никогда не цитирует его и не подкрепляет свою речь крылатыми мыслями, которыми так богат Шекспир. Между тем, например, из Гете Лев Николаевич довольно часто приводит по-немецки различные стихотворные отрывки, хотя в то же время и не принадлежит к его горячим почитателям, вполне разделяя мнение Гейне, что Гете великий человек в шелковом сюртуке. Однажды он более определенно отозвался о Гете и сказал, что Гете представляет собою редкий образец величайшего художника, но без того особенного икса, который придает незаменимое достоинство писателю. С произведениями Гейне Лев Николаевич познакомился настоящим образом только в последнее время и очень увлекался ими. В самой горячей беседе он иногда останавливался и, поднявши голову, мастерски прочитывал по-немецки какое-нибудь стихотворение Гейне, относящееся к беседе. Особенно нравится ему стихотворение «Lass die frommen Hypotesen…»[14].

Шиллера Льву Николаевичу тоже пришлось за последнее время реставрировать в своей памяти. Из Шиллера больше всего нравятся ему «Разбойники» своим молодым, горячим языком[15].

— «Дон Карлос» уже не то, — говорил он. — Главное же в «Дон Карлосе» меня отталкивает то, чего я никогда терпеть не мог, это — исключительность положений. По-моему, это все равно, что брать героями сиамских близнецов.

С Берне Лев Николаевич до последнего времени вовсе не был знаком и с большим удовольствием прочитал недавно некоторые из его статей <…>.

О Викторе Гюго Лев Николаевич очень высокого мнения.

144

— Редко, очень редко в одном человеке, — как-то сказал он, — сочетается такой талант с такой силой чувства и духа, как у Виктора Гюго[16].

Но больше всех имел влияние на его духовный уклад Ж.-Ж. Руссо.

— Я так боготворил Руссо, — сказал однажды Лев Николаевич, — что одно время хотел вставить его портрет в медальон и носить на груди вместе с иконкой <…>[17].

Из русских писателей на Л. Н. Толстого имел наибольшее влияние Лермонтов[18]. Он до сих пор горячо относится к нему, дорожа в нем тем свойством, которое он называет исканием. Без этого свойства Лев Николаевич считает талант писателя неполным и как бы с изъяном. Роль писателя, по его мнению, должна включать в себя два обязательных свойства: художественный талант и разум, то есть ту очищенную сторону ума, которая способна проникать в сущность явлений и давать высшую для своего времени точку миропонимания.

Из русских современников Л. Толстого имел некоторое влияние на его литературную формацию Д. Григорович.

Не считая Григоровича крупным художником, Лев Николаевич признает, однако, за ним значительные заслуги как за изобразителем народной жизни[19].

— Произведения Григоровича, — как-то сказал Лев Николаевич, — в свое время сделали свое дело. В этом отношении значительная заслуга принадлежит и Тургеневу, который сумел в эпоху крепостных отношений осветить крестьянскую жизнь и отметить ее поэтическую сторону[20]. Но еще больше с этой стороны сделал Некрасов. У него было драгоценное качество — сочувствие к народу, которое всегда подкупает читателя.

К Некрасову, как к человеку, Лев Николаевич относится с симпатией и видимо признает его влияние на себя. Однажды кто-то спросил у Льва Николаевича, ясен ли для него Некрасов как человек.

— О, вполне, — ответил Лев Николаевич. — Он мне очень нравился за свою прямоту и отсутствие всякого лицемерия[21]. Всегда он открыто говорил о своих делах и чувствах, доводя иногда даже как бы до некоторого цинизма свою откровенность <…>.

145

Тургенева Л. Н. Толстой всегда считал человеком передовым, хорошо образованным и очень талантливым. Но его беллетристические произведения, за исключением «Записок охотника», никогда не вызывали восхищения со стороны Л. Н. Толстого. По крайней мере, он сам не раз говорил об этом:

— Тургенев, как романист, мне никогда особенно не нравился, даже и во дни моей молодости. Иногда я даже удивлялся, как мог такой многосторонне образованный и талантливый человек, как Тургенев, писать такие незначительные вещи, как некоторые его повести <…>.

— Не нравился мне и «Рудин» Тургенева, которым, помню, многие восхищались. Я слышал «Рудина» в чтении самого Тургенева. Он читал эту повесть как-то после обеда у Некрасова[22]. На чтении присутствовали: Анненков, Дружинин, Григорович, Некрасов, конечно, затем еще, кажется… кажется, Гончаров и Фет… Впрочем, хорошо не помню. Но помню, что и тогда мне не понравилось в повести Тургенева, что я всегда считал в нем слабой стороною, — это его романический элемент. Искусственно и ненужно все это. Вообще в этом отношении Тургенев был престранный человек. Во всякой красивой женщине он видел как бы ключ к величайшей премудрости. Вот ее, мол, надо послушать. В ней именно все то, что нужно человеку. Однажды он пресерьезно рассказывал мне, что одна графиня просила его быть верующим и взяла с него слово, что он будет непременно молиться богу. «И я молюсь теперь, — говорил Тургенев, — каждый день хоть немного, а возьму и помолюсь». А еще раз Тургенев рассказывал мне… — И Лев Николаевич вдруг рассмеялся.

— Вы только представьте себе, — сказал он, — фигуру Тургенева, стоящего, в виде наказания, в углу с колпаком на голове! А он уверял, что иногда именно это проделывает над собою, когда провинится в чем-нибудь. Возьмет будто бы высокий-высокий колпак, наденет на голову и поставит себя в угол. Поставит и стоит. Но все это мелочи, разумеется. Заслуги его все-таки велики. И его рассказы из народной жизни навсегда останутся драгоценным вкладом в русскую литературу. Я всегда высоко их ценил. И тут никто из нас с ним сравниться не может. Возьмите «Живые мощи», «Бирюка»[23] и другие. Все это бесподобные вещи. А его картины природы! Это настоящие перлы, недосягаемые ни для кого из писателей.

146

Однажды между Тургеневым и Л. Н. Толстым произошел очень характерный эпизод, быть может, отчасти послуживший

сгущению той тени, которая лежала вообще между Тургеневым и Л. Н. Толстым.

В 1860 году Л. Толстой приехал в деревню к Тургеневу. Тот в это время кончил роман «Отцы и дети»[24] и придавал очень большое значение своему новому произведению, выразивши желание узнать о нем и мнение Л. Н. Толстого. Последний взял рукопись, лег в кабинете на диван и начал читать. Но роман показался ему так искусственно построенным и таким незначительным по содержанию, что он не мог преодолеть охватившей его скуки и… заснул.

— Проснулся я, — рассказывает он, — от какого-то странного ощущения и когда открыл глаза, то увидел удаляющуюся из кабинета гигантскую фигуру Тургенева.

Весь этот день между ними как бы висело что-то.

К Достоевскому Л. Н. Толстой относился, как к художнику, с глубоким уважением, и некоторые его вещи, особенно «Преступление и наказание» и первую часть «Идиота», Лев Николаевич считал удивительными[25]. «Иная, даже небрежная, страница Достоевского, — как-то сказал Лев Николаевич, — стоит многих томов многих теперешних писателей. На днях для «Воскресения» я прочел его «Записки из Мертвого дома». Какая это удивительная вещь!»[26]

Некоторых из писателей Л. Н. Толстой как бы вовсе не признает. К этому разряду относятся Мельников-Печерский, Помяловский, Решетников и некоторые из современных литераторов. Из писателей-народников Л. Н. Толстой всегда с оживлением говорит о Слепцове.

Из современных русских писателей Л. Н. Толстой наиболее любит А. Чехова, к которому относится всегда с особенной благожелательностью и считает его перворазрядным мастером по языку и колориту некоторых его рассказов. Он охотно и хорошо читает вслух рассказы А. Чехова, перечитывая по нескольку раз некоторые вещи. «Драму», «Злоумышленника», «Холодную кровь» и другие мелкие чеховские рассказы Л. Н. может читать и слушать сколько угодно[27].

Как-то пришел я к Толстым с новым рассказом А. Чехова «Душечка». За чаем заговорили о литературе. Я сказал о новом рассказе А. Чехова. Лев Николаевич спросил, читал ли я этот рассказ и как его нахожу.

Я сказал, что читал и нахожу его «ничего себе». Впрочем, я пробежал мельком рассказ и, может быть, составил о нем неверное мнение. Узнав, что рассказ А. Чехова со мною, Лев Николаевич оживился и предложил читать вслух «Душечку». С

первых же строк рассказа он начал делать одобрительные вставки: «Как хорошо! Какой превосходный язык!» и т. п. И, прочитавши с большим мастерством «Душечку», Л. Н. обратился ко мне с недоумением:

— Как же это вы сказали «ничего себе»? Это просто перл. Как тонко схвачена и выведена вся природа женской любви! И какой язык! Никто из нас: ни Достоевский, ни Тургенев, ни Гончаров, ни я не могли бы так написать.

И Лев Николаевич начал с одушевлением цитировать некоторые места из «Душечки».

В это время пришли новые посетители к Толстым. Лев Николаевич поздоровался и сейчас же спросил:

— Читали «Душечку» Чехова?

— Нет.

— Послушайте, какая прелесть! Хотите?

И Лев Николаевич вторично прочел «Душечку», еще с бо? льшим мастерством <…>[28].

Небезынтересно, что мысль о небольших беллетристических эскизах, появившихся потом в печати под названием «Стихотворений в прозе», подал Тургеневу Л. Н. Толстой.

Однажды, когда зашла речь об усиленной работе над художественными произведениями, Лев Николаевич сказал:

— Никакою мелочью нельзя пренебрегать в искусстве, потому что иногда какая-нибудь полуоторванная пуговица может осветить известную сторону жизни данного лица. И пуговицу непременно надо изобразить. Но надо, чтобы и все усилия, и полуоторванная пуговица были направлены исключительно на внутреннюю сущность дела, а не отвлекали внимания от главного и важного к частностям и пустякам, как это делается сплошь и рядом. Какой-нибудь из современных писателей, описывая историю Иосифа с женой Пентефрия, наверно уж не пропустил бы случая блеснуть знанием жизни и написал бы: «Подойди ко мне, — томно произнесла жена Пентефрия, протягивая Иосифу свою нежную от ароматических

натираний руку с таким-то запястьем, и т. д.[29]». И все эти подробности не только не осветили бы ярче сущности дела, но непременно бы затушевали ее. Самое же главное в искусстве — не сказать ничего лишнего <…>.

Однажды мне пришлось узнать, как далеко идет его требовательность к себе. Зашла как-то речь о молоканах, не признающих, как известно, других книг, кроме религиозных. Говорили именно об этом, и один из присутствующих строго осуждал косность молокан <…>.

Выслушав внимательно своего собеседника, относившегося неодобрительно к молоканам, чуждающимся светских книг, Лев Николаевич в раздумье проговорил:

— Да следует ли осуждать их за это? Как подумаешь иной раз, сколько лжи нагромождено в наших книгах, то затрудняешься сказать, где ее больше — в жизни или в книгах. И возьмешься иногда за перо, напишешь вроде того, что «Рано утром Иван Никитич встал с постели и позвал к себе сына»… и вдруг совестно сделается и бросишь перо. Зачем врать, старик? Ведь этого не было, и никакого Ивана Никитича ты не знаешь. Зачем же на старости лет ты прибегаешь к неправде. Пиши о том, что было, что ты действительно видел и пережил. Не надо лжи. Ее и так много.

При подобных этических требованиях нельзя, разумеется, писать каждый год по роману <…>.

В другой раз мне пришлось слышать мнение Льва Николаевича об его работах во время прогулки по полю. Он на минуту замедлил шаги и сказал с оттенком горечи:

— Пишешь-пишешь всякие повести и рассказы, а как посмотришь на жизнь нашей интеллигенции и сравнишь ее с трудовою жизнью народа, то совестно делается, что занимаешься такими пустяками, как писание для интеллигенции. И хочется раз навсегда бросить все это <…>.

Постоянное стремление Льва Николаевича к правдивости и ясности в своих произведениях берет у него много времени не только на самое писание, но и на подготовительную работу. Он старается найти в жизни подтверждение задуманным положениям и немедленно отбрасывает все выдуманное, если жизнь подставляет готовый эпизод. Так было с Анной Карениной, которую Л. Н. Толстой сначала не думал умерщвлять. Но вблизи

Ясной Поляны произошел аналогичный романический эпизод, причем несчастная героиня Анна бросилась под поезд[30]. Это натолкнуло Л. Н. Толстого на новую разработку вопроса и значительно изменило его первоначальный план <…>.

«Крейцерова соната» возникла при следующих обстоятельствах. У Толстых гостили в Ясной Поляне художник И. Репин, актер Андреев-Бурлак[31], очень смешивший Льва Николаевича своими рассказами, и приехавшая из-за границы г-жа Г., которая однажды вечером сыграла сонату Крейцера с такой яркою выразительностью, что произвела на всех, и на Льва Николаевича в особенности, глубокое впечатление, под влиянием которого он сказал И. Репину:

— Давайте и мы напишем Крейцерову сонату. Вы — кистью, я

— пером, а Василий Николаевич (Андреев-Бурлак) будет читать ее на сцене, где будет стоять и ваша картина.

Предложение это вызвало общее одобрение.

Через некоторое время Лев Николаевич, с присущею ему настойчивостью, взялся за работу, которая давно уже, вероятно, бродила в его голове…[32].

«Плоды просвещения» были написаны для домашнего спектакля в Ясной Поляне. Сначала пьеса состояла из двух действий и называлась «Исхитрилась». Но по мере того, как шли репетиции, в которых Лев Николаевич принимал деятельное участие, он исправлял и дополнял пьесу, соображаясь с составом действующих лиц. Во время спектакля некоторые исполнители доставили ему такое большое удовольствие своею игрой, что некоторые сцены навсегда запечатлелись в его памяти. Особенно восхитил его судебный следователь Л <опатин>, исполнявший роль одного из мужиков.

— Приехал он, — рассказывает Лев Николаевич, — в Ясную и целый день ни с кем почти не разговаривал, все ходил понуря голову. Но на сцене превзошел всех и создал из своей маленькой роли нечто столь прекрасное, что я не мог даже предвидеть, создавая эту роль.

И, одушевляясь, по обыкновению, когда речь касалась истинного дарования, Лев Николаевич начал вспоминать игру старых московских актеров: Щепкина, Мартынова и других. О Мартынове он отзывался с особенным жаром.

— Это был великий артист, — сказал он, — сочетавший в себе три драгоценных качества: талант, ум и

способность к упорному труду. В пьесе А. Потехина «Чужое добро впрок не пойдет» Мартынов был так бесподобен, что я, тогда еще начинавший литератор, поднял клич, и мы устроили ему великолепную овацию» <…>[33].

Будучи в хорошем настроении и находясь в кругу близких знакомых, он передает иногда свои впечатления в лицах и ярко оттеняет типические особенности каждого лица.

— Ну, давайте еще вспоминать о чем-нибудь, — говорит иногда Лев Николаевич и начинает рассказывать о своей молодости, о Кавказе, о своих охотничьих похождениях. Как однажды на Кавказе пьяница Ерошка, которого Лев Николаевич описал в «Казаках», прибежал к нему и сказал, что в станице появился волк, как Лев Николаевич схватил двухстволку и стал в указанном Ерошкой месте поджидать волка. Но было очень темно. И Лев Николаевич не заметил, как волк преспокойно перелез около него через забор. Только потом уж Л. Н. сообразил,

что это волк, и выстрелил в него вдогонку. Но ружье дало осечку, и волк преблагополучно удалился. Один из слушателей по ассоциации идей вспоминает о том, как медведь душил Льва Николаевича, и спрашивает:

— Лев Николаевич, о чем вы тогда думали, когда на вас насел медведь?

— Когда там было думать? — возразил Лев Николаевич. — Ни о чем не думал. Старался только отвернуть свое лицо от медведя и больше ничего. Медведь ведь всегда норовит вцепиться в глаза, вероятно, чувствуя, что это самая заветная вещь у человека. И у всех, заеденных медведем, почти всегда на лбу кожа изгрызена. Это бывает потому, что всякий, желая защитить глаза, делает вот такое движение и невольно подставляет лоб. То же самое сделал и я, когда медведь повалил меня. Я сделал движение головой вниз, и челюсть его очутилась вот здесь, около лба. Тут, как видите, еще и шрам виден[34].

Кто-то из присутствующих спросил:

— Очень страшно было?

— Нет, не особенно. Самый большой страх я испытал только однажды, в 1853-м году на Кавказе. В этот день у нас была горячая схватка с горцами. Мы получили

приказ выступить рано утром. Надо было обойти гористую площадь и подойти к неприятельской крепости. Но туман в этот день был так густ, что в нескольких шагах все уже сливалось, и мы только по звукам орудий догадывались, где наши действуют, а где неприятель. Я был фейерверкером, вынул клин и навел орудие по слуху. Трескотня в это время была ужасная. А это сильно возбуждает нервы, так что о смерти даже и не думаешь. Вдруг одно из неприятельских ядер ударило в колесо пушки, раздробило обод и с ослабевшей силой помяло шину второго колеса, около которого я стоял. Не попади ядро в обод первого колеса, мне, вероятно, было бы плохо. Сейчас же другое ядро убило лошадь. Тогда мы решили отступить и начали стрелять, что называется, «отвозом», то есть не отпрягая лошадей. Убитую лошадь надо было бросить. Обыкновенно отрезывают постромки. Но брат Николай, — это был удивительного присутствия духа человек, — ни за что не хотел оставить неприятелю сбруи. Я начал убеждать. Но тщетно. И пока не была снята с лошади сбруя, брат Николай продолжал отдавать распоряжения под выстрелами. Все это, однако, заняло значительное время. Мы страшно устали, подъем духа у нас стал заметно падать. Все отступая и отступая, мы начали уже думать, что находимся с другой стороны и вдали от неприятеля. Вдруг невдалеке от нас раздались неприятельские

выстрелы. Тут я почувствовал такой страх, какого никогда не испытывал. С напряженным усилием мы опять начали отступать в сторону и только уже к вечеру, обессиленные и голодные, добрались, наконец, до казачьей стоянки. Казаки нас встретили по-товарищески, мгновенно раздобыли вина и зажарили козленка. Они ведь все это хоть из-под земли выкопают. И с каким наслаждением мы растянулись на траве у пылающего костра! Как вкусен был молодой козленок! <…>.

После чаю возник общий разговор о музыке, о поэзии, о стихах. Одна из родственниц Толстых прочла своеобразной, певучей дикцией несколько модных стихотворений в символическом духе — с «лиловыми звуками» и «ноющими ароматами». Лев Николаевич стоял у рояля, засунув руку за пояс блузы, и с улыбкою слушал чтение; когда чтение кончилось, он засмеялся и сказал:

— Уж если набирать в рот всякие звучные слова и потом выпускать их, то вы читайте хоть Фета. У него все-таки есть поэзия и вкус.

И, поднявши немного голову, точно желая вызвать в памяти что-то полузабытое, Лев Николаевич выразительно прочитал одно из фетовских стихотворений, в котором поэт сравнивает звездное небо с опрокинутой урной[35].

Начали говорить о Фете.

Графиня Софья Андреевна хотела вспомнить одно из его стихотворений[36], посвященное ей и положенное на музыку, но не могла вспомнить.

Лев Николаевич сел за рояль и легким, свободным приемом сыграл этот романс. К роялю подошла в узорчатом шушуне старшая дочь Толстых, Татьяна Львовна, и спросила отца, не пожелает ли он ей аккомпанировать. Он охотно согласился. Она взяла в руки мандолину, оперлась о рояль, и они начали играть стройно и согласно <…>.

notes

Примечания

1

Первая встреча Сергеенко с Толстым состоялась в 1892 г.

2

Толстой познакомился с Герценом в Лондоне в феврале 1861 г., во время своей поездки за границу. Они, по словам Толстого, виделись тогда «почти каждый день, и были разговоры всякие и интересные» (ПСС, т. 75, с. 71). См. письма Толстого к Герцену от 20 марта, 26 марта и 9 апреля 1861 г. («Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями». М., 1962, с. 454–459).

3

Толстой неизменно высоко оценивал талант Герцена — прозаика и публициста. Еще до личной встречи с Герценом он писал о нем в дневнике 1860 г.: «Ширина, ловкость и доброта, изящество — русские». В 1888 г. он утверждал, что Герцен как писатель художественный, если не выше, то уж наверно равный нашим первым писателям» (ПСС, т. 86, с. 121); и позднее с воодушевлением говорил о нем как об «удивительном писателе», имеющем огромное влияние на общественное развитие: «Наша жизнь русская за последние 20 лет была бы не та, если бы этот писатель не был скрыт от молодого поколения. А то из организма русского общества вынут насильственно очень важный орган» (ПСС, т. 64, с. 151). В письме к В. Г. Черткову от 8 августа 1899 г. Толстой, сетуя на медлительность откликов на текущие события, приводил в пример Герцена: «Нужно быстро и бойко, по-герценовски, по-журнальному, писать о современных событиях» (ПСС, т. 88, с. 179).

4

См. коммент. 8 к воспоминаниям А. В. Жиркевича.

5

Имеется в виду картина Н. Н. Ге «Что есть истина?» (1890). По требованию Святейшего синода она была снята с XVIII выставки передвижников. В письме к П. М. Третьякову Толстой утверждал, что картина Ге составляет эпоху «в христианском, то есть в нашем истинном искусстве» (ПСС, т. 65, с. 107).

6

Мысль об отрицательном влиянии специальных художественных школ развивалась Толстым в трактате «Что такое искусство?» (ПСС, т. 30, с. 28).

7

Подлинное искусство, по мысли Толстого, обладает особенностью, которая в высшей степени присуща народному искусству, а именно исключительной силой непосредственного эмоционального воздействия: «Эта простая музыка гораздо сильнее действует. Там, у композиторов, я должен делать усилия, чтобы понять, а эта сама входит в душу» (Гусев. Два года с Толстым, с. 213). Ср. также гл. XIV трактата «Что такое искусство?» (ПСС, т. 30, с. 144).

8

«Зигфрид» — третья часть тетралогии «Кольцо Нибелунгов» Р. Вагнера. Сергеенко ошибочно относит разговор об опере к 1892 г., так как Толстой впервые слышал «Зигфрида» 19 апреля 1896 г. в Большом театре в Москве (ПСС, т. 69, с. 82–83). Почти вся XIII глава трактата Толстого «Что такое искусство?» посвящена выдержанному в резких тонах критическому разбору оперы Р. Вагнера (ПСС, т. 30, с. 129–140). Толстой отрицает новаторство Вагнера, полагая, что в основе его приемов лежит «нелепая» «мистическая теория Шопенгауэра» и «еще более ложная система соединения всех искусств» (там же, с. 126). Ср. также: Т. Л. Сухотина-Толстая, с. 226. В романе «Анна Каренина» толстовские мысли о музыке Вагнера высказывает Левин.

Эта мысль — одно из центральных положений эстетики Толстого. Уже в черновой редакции «Детства» (1852) Толстой замечает: «Воображение — такая подвижная, легкая способность, что с ней надо обращаться очень осторожно. Один неудачный намек, непонятный образ, и все очарование, произведенное сотнею прекрасных, верных описаний, разрушено. Автору выгоднее выпустить 10 прекрасных описаний, чем оставить один такой намек в своем сочинении» (ПСС, т. 1, с. 178).

10

Поль Дерулед приезжал к Толстому в Ясную Поляну 15 июля 1886 г.

11

Толстой был на представлении «Короля Лира» Шекспира в театре «Эрмитаж» в первой половине января 1896 г.

12

Мысль об отрицательном воздействии некоторых элементов натурализма, привнесенных в театральные постановки пьесы, часто повторялась Толстым. Говоря об исполнении роли Анютки артисткой Егоровой, Толстой замечал: «Было что-то раздирательное. Это было слишком реально, слишком похоже на действительность». Она, видно, и сама перепугалась, когда кричала, и это оставляло неприятное впечатление» (Л. Гуревич. Литература и эстетика. М., 1912, с. 232).

13

Мысль об отрицательном воздействии некоторых элементов натурализма, привнесенных в театральные постановки пьесы, часто повторялась Толстым. Говоря об исполнении роли Анютки артисткой Егоровой, Толстой замечал: «Было что-то раздирательное. Это было слишком реально, слишком похоже на действительность». Она, видно, и сама перепугалась, когда кричала, и это оставляло неприятное впечатление» (Л. Гуревич. Литература и эстетика. М., 1912, с. 232).

14

Толстой любил читать стихи Гейне на память в оригинале. Т. Л. Сухотина-Толстая записала в дневнике 1898 г.: «Папа? читает Гейне и вчера говорил одно стихотворение, которое выучил наизусть» (Т. Л. Сухотина-Толстая, с. 233). «Lass die frommen Hipotesen…» («Брось свои иносказанья…». Перевод М. Михайлова) — из цикла: «Стихотворения 1853–1854 гг.».

15

См. коммент. 98 к воспоминаниям В. Ф. Лазурского.

16

Сочетание силы чувства с высоконравственным содержанием Толстой отмечал как характерную черту творчества Гюго. В трактате «Что такое искусство?» (гл. XVIII) он утверждал, что произведения Гюго способны передавать «чувства, влекущие к единению и братству людей» (ПСС, т. 30, с. 177).

17

В беседе с Полем Буайе Толстой говорил, что в пятнадцать лет носил на шее медальон с портретом Руссо, как образок. См. воспоминания П. Буайе, с. 268.

18

В письмо к М. М. Ледерле в списке книг, произведших на него особенно сильное впечатление в возрасте от четырнадцати до двадцати лет, Толстой называет «Героя нашего времени», особенно выделяя «Тамань» (ПСС, т. 66, с. 67). В октябре 1910 г., незадолго перед уходом из Ясной Поляны, в письме к И. И. Горбунову-Посадову Толстой советует выбрать лучшие стихотворения Лермонтова как «образец совершенства» в этом роде художественного творчества (ПСС, т, 82, с. 207).

19

В письме к Д. В. Григоровичу от 27 октября 1893 г. по случаю пятидесятилетия его литературной деятельности Толстой писал: «Вы мне дороги <…> радостным открытием того, что русского мужика, нашего кормильца и — хочется сказать: нашего учителя, — можно и должно описывать не глумясь и не для оживления пейзажа, а можно и должно писать во весь рост, не только с любовью, но с уважением и даже трепетом» (ПСС, т. 66, с. 409).

20

Толстой имеет в виду «Записки охотника» Тургенева, особенно высоко ценимые им.

21

Еще в 50-х годах при личных встречах Толстой проявлял, по словам Некрасова, «скрытое, но несомненное участие» к нему (Некрасов, т. X, с. 275). В 70-х годах Толстой пишет Некрасову о том, что с ним связано у него «много хороших молодых воспоминаний» (ПСС, т. 62, с. 110). Особенно ясно ощутил Толстой, насколько дорог был ему этот человек, узнав о смерти Некрасова, которая «поразила» его. «Мне жалко было его, — писал он Н. Н. Страхову 3 января 1878 г., — не как поэта, тем менее как руководителя общественного мнения, но как характер, который и не попытаюсь выразить словами, но понимаю совершенно и даже люблю не любовью, а любованием» (ПСС, т. 62, с. 369).

22

Толстой слушал чтение «Рудина» в середине декабря 1855 г. О впечатлении «фальши», «придуманности» он говорил в июне 1894 г. в беседе, зафиксированной В. Ф. Лазурским, см. наст. том, с. 54.

23

«Живые мощи» (1874) и «Бирюк» (1848) — рассказы из цикла «Записки охотника» И. С. Тургенева.

24

Ошибка. Толстой приезжал к И. С. Тургеневу в Спасское не в 1860 г., а в марте 1861 г. и слушал чтение рукописи еще не законченного романа «Отцы и дети», работа над которым была завершена позднее, в июле 1861 г.

25

Мысль о неровности романов Ф. М. Достоевского, о тщательной отделке автором первых частей (см. Записи М. Г. Черткова, с. 120) повторялась Толстым не раз. Говоря в 1883 г. о «Преступлении и наказании» как о лучшем из романов Достоевского, Толстой замечает: «Прочтите несколько глав с начала, и вы узнаете все последующее» (Г. А. Русанов. Поездка в Ясную Поляну (24–25 августа 1883 г.) — «Толстовский ежегодник 1912 г.». М., 1912, с. 60). Позднее, уже в 90-х годах, он возвращается к этому наблюдению, имея в виду «Преступление и наказание» и роман «Идиот».

26

См. коммент. 3 к воспоминаниям В. Г. Черткова.

27

В письме к Чехову от 25 мая 1903 г. И. Л. Толстой сообщал о списке из тридцати его рассказов, составленном Толстым, где «Злоумышленник» (1885) отнесен к «первому сорту» (ГБЛ).

28

14 января 1899 г. Толстой читал вслух «Душечку» и рассказ «По делам службы» (ДСТ, III, с. 109). О чтении Толстым «Душечки» и «По делам службы» свидетельствует И. И. Горбунов-Посадов в письме А. П. Чехову от 24 января 1899 г.: «Лев Николаевич в восторге от нее («Душечки»). Он все говорит, что это перл, что Чехов это большой-большой писатель. Он читал ее уже чуть ли не 4 раза вслух и каждый раз с новым увлечением» (Чехов, т. IX, с. 603).

29

Толстой имеет в виду эпизод из истории Иосифа, отличающийся предельной краткостью изложения (Библия. Книга Бытия, гл. 39).

30

Речь идет о трагическом происшествии, случившемся 6 января 1871 г., — о самоубийстве Анны Степановны Пироговой. Подробнее об этом см.: «Об отражении жизни в «Анне Карениной». Из воспоминаний С. Л. Толстого». — ЛН, т. 37–38, с. 567–568.

31

О возникновении замысла «Крейцеровой сонаты» и работе Толстого над ним см. в статье Н. К. Гудзия «История писания и печатания «Крейцеровой сонаты» (ПСС, т. 27, с. 563–596). В. Н. Андреев-Бурлак посетил Толстого в Ясной Поляне 21 июня 1887 г. Тогда же он рассказал Толстому о случайной встрече в вагоне железной дороги с господином, который «сообщил ему свое несчастие от измены жены» (ДСТ III, с. 142, 160).

32

Основой для будущего замысла повести «Крейцерова соната», по свидетельству самого Толстого, послужило письмо, полученное им от неизвестной женщины в феврале 1886 г. (ПСС, т. 27, с. 572–573).

33

Увлечение А. Е. Мартыновым относится к юношеским годам Толстого. В 1845 г., будучи еще студентом Казанского университета, Толстой видел Мартынова в Казанском театре в роли Хлестакова (А. Стахович. Клочки воспоминаний. — «Толстовский ежегодник 1912 г.», с. 29). В пьесе А. А. Потехина «Чужое добро впрок не идет», которую Толстой смотрел в декабре 1856 г. на сцене Александринского театра, Мартынов исполнял роль Михайлы и вызвал восхищенный отклик Толстого (А. Стахович. Ук. соч., с. 31). Впоследствии Толстой говорил: «За всю свою жизнь я не видал актера выше Мартынова» (П. М. Пчельников. Из дневника. — «Международный толстовский альманах», сост. П. Сергеенко. М., 1909, с. 276).

34

Случай, о котором вспоминал Толстой, произошел 22 декабря 1858 г. на медвежьей охоте. См. воспоминания А. А. Фета в т. 1 наст. изд., с. 81–82 и коммент. к ним. Это происшествие дало писателю материал для детского рассказа «Охота пуще неволи» (1872).

35

По-видимому, стихотворение А. А. Фета «Как хорош чуть мерцающим утром…» (1857).

36

Фет, увлеченный С. А. Толстой, посвятил ей несколько стихотворений: «Гр. С. А. Т — ой» («Когда так нежно расточала…»), «К портрету графини С. А. Т-ой» («И вот портрет! и схоже и несхоже…»), «Ей же» («Я не у вас, я обделен…»), «Ты вся в огнях. Твоих зарниц…», «Графине С. А. Т-ой (во время моего 50-летнего юбилея)» («Пора! Во влаге кругосветной…»), «Графине С. А. Толстой» («Когда стопой слегка усталой…»).